

Улья НОВА

БАБУШКИН САД. ГОРСТЬ ЛЕПЕСТКОВ И ЛИСТЬЕВ

Рассказ

*Мой сад – мемориал;
каждая круглая клумба – узел истинной любви...
Дерек Джармен. Современная природа*

*Как имя на коре, моя утрата
Растёт, не заживая, в глубину.
Жерар де Нерваль. Бабушка*

Завыли сигнализации машин. Рвануло во дворе, возле голубятни и гаражей. На истощный хор автостоянки откликнулась лаем хромая соседская такса. Снова грохнуло – совсем близко, за скорлупкой стены. С потолка посыпалась штукатурка, хлынул песок. Тумбочка и стул скользнули к окну. Брызги стекла. Руки к голове – укрыть лицо и макушку. Потом вдруг отпустило. Распахнулся безвоздушный провал. Ничего. Невесомость. Отсутствие – без конца и края. Спустя бездну темного целлофана вдруг само собой возникло, прояснилось бескрайнее белое поле, чуть колышущееся, на нем извивались русла-трещины. Сбоку притаилась хромая такса, вот же она, осиротевшая в снегах, дрожит от страха, прикидываясь пятном ржавчины. Он тоже потерялся и на всякий случай прикинулся спящим. Так и лежал, замерев без движений. Не мог, да и не хотел пошевелить ни рукой, ни ногой, устранился от всего сразу. И тем не менее краем глаза постепенно опознал узкий подоконник, чуть впереди – железную спинку койки и такую же койку подальше, через проход. В щели деревянной рамы дул настырный ледяной ветер. Вдруг очнувшись, овладев телом заново, рывком накинул на голову колючее одеяло. И уж потом в укрытии пошевелился, знакомясь с туловищем, принимая назад будто по инструкции вернувшиеся конечности, шею, лопатки, спину. Правая рука, левая нога. Все как будто на месте. Отяжелевшее, отсыревшее древесиной тело оказалось целым. В то же время стало разрозненным, разорванным на мелкие куски, а потом неудобно и неумело наметанным заново – скрипучими медными нитями. Никак не мог согреться. Промерз до дрожи, одеяло совсем не грело, даже наоборот, отбирало тепло. От холода стучали зубы. И все же через силу дышал колючим ледяным воздухом, по ощущениям, чужого заброшенного помещения.

И тут в палату еще ворвалась стая шуршащих белых птиц. Металась по кругу, между койками, среди серо-зеленых стен. Прищурился, и тогда оказалось, это медсестра торопливо раздаёт погремушки – пузырьки с таблетками. На тумбочку возле его койки беззвучно положила градусник. Ни слова не сказала. А с другими щебетала без умолку – на чужом, неродном ему языке. Пошевелиться не мог, не было сил хоть улыбнуться мелькающему пятну халата. Крепко

Улья Нова (Ульянова Мария) родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор семи книг прозы, в том числе романов «Собачий царь», «Лазалки», «Чувство моря». Дипломант Одесской международной литературной премии им. Исаака Бабеля. Рассказы, повести, стихи в разные годы публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность» и др. С 2015 года живет в Риге.

же его потрянуло этим взрывом, кажется и вправду распотрошило грудную клетку, разомкнуло все провода внутри головы. Тем не менее он сразу, едва приоткрыв глаза, догадался, что попал в госпиталь. А теперь вдруг понял: это же палата пленных. В изнеможении откинулся на подушку, заглядывал сырой фиолетовый воздух, набираясь сил протянуть руку и все же померять температуру. На нем оказалась байковая пижама: рубашка в полоску, застиранные штаны в клетку. Госпитальное, чужое, тюремное тряпье. Все стало тусклым. Смеркалось. Медсестра беззвучно исчезла. Зачем-то пришло на ум, что сейчас последние дни. И лучше бы умереть, поскорее освободиться, не узнать, что дальше. И что самое время перелистать жизнь туда и обратно, от конца к началу, от начала к концу. Как-нибудь отыскать опечатки, ошибки, промахи. Крепко, отчаянно раскаяться. Возрадоваться. Возблагодарить. Перед концом и выходом на тот свет. Или, если не повезет, перед выздоровлением, выпиской из госпиталя и дальнейшей неизвестностью пленного. Но это же надо решиться, броситься на досмотр прожитой жизни. Посвятить всего себя, до последней капли. Сквозь муть и головную боль, вернуться в прежние дни, растрчивая остатки тепла. Беспощадное расследование, безудержное раскаяние. Скорейшее очищение от заблуждений, а вместе с ними и от жизни. Только вот он никак не мог вспомнить свое имя. Не получалось, и все тут.

Разволновавшись, не заметил, когда в палату вошли двое, судя по голосам, молодые ассистенты. Хотя для обхода и процедур было поздно. Почему-то решил, что они ведут в отделении статистику. Переводят стонущих, тонущих в поту пленных в безликие столбцы таблицы. Потом с надеждой предположил: может быть, сантехники объявились под вечер насчет батарей. А то такой холод, что при выдохе видно пар. Вдруг стало любопытно: почему они болтают без умолку, в полный голос. Чуть приподнялся, прищурился, кто такие. В проходе между койками покачивался сутуловатый человек в черном. Его лицо скрывала хирургическая маска. Видно было только высокий бледный лоб. Рядом крутился низенький неугомонный помощник. Неприятный, скользкий тип, а может быть, сама смерть пожаловала в палату в халате санитаря морга с завязками на спине. Эти двое громко, но беззлобно спорили. Прислушавшись, сумел разобрать, что старика, который все лежит, сжавшись, скрючившись, на койке в углу, решено забрать утром. Что значит «решено»? Как то есть «забрать»? Встревожился и снова не смог сосредоточиться. А когда очередь дошла до него самого, в голове звенело. Расслышал только «через два дня». Сутулый в черном возразил: «Но в данном случае имеется шанс. Один из тысячи. И придется его предоставить. Помнишь, мы не должны отнимать любую возможность. И этому бедолаге нужно вернуться в свой сад. Угадать, что он там ищет: цветочек, кустик, веточку дерева. Собрать горсть листьев, лепестков, корней или что там имеет целебную силу. Залить кипятком. Мы ему предоставим два дня, все можно успеть: вернуться в сад, найти растение, приготовить отвар. Уйма времени, практически целая вечность. Если он справится, найдет и выпьет пару глотков своего лекарства, значит, выкарабкается до следующего перекрестка. А как там сложится с ним дальше – это нас с тобой не касается. Если хочешь знать, лично я ни в какую гомеопатию не верю, но кто меня спрашивает», – так и в таком духе настаивал человек в черном. И в конце концов его ассистент, похожий на крысенка, низенький серый смерть, унижительный и невзрачный, снисходительно кивнул. Они отошли к двери, шептались там еще долго, видимо об остальных раненых и контуженых. Он уже не особенно прислушивался. Не вдавался в подробности судьбы случайных попутчиков по палате. Прирос затылком к подушке, вдруг уловил вдаль раскаты, попробовал стонать. И все же, пересиливая одурь и тревогу наплывающего грома, слишком похожего на недавние взрывы, попытался припомнить, где бабушка прятала ключ. Мысли о ключе мигом вытолкнули на поверхность из темной воды полубоморока. Дыхание вернулось, прилетело на крыльях. Скоро он нашел слева от калитки, в высокой темной осоке, почерневший ключ с синей леской, скрученной в кольцо, вместо брелока. Со скрежетом крутанул ржавый амбарный замок, зубастый и ворчливый. Вдруг почувствовал

нарастающее нетерпение. И даже ликование, впервые за этот бесконечный госпитальный день. Еще бы – за глхим забором из серого штaketника, за скрипучей железной калиткой его ждал бабушкин сад. И вот он уже наваливается всем телом, поскорее изо всех сил выталкивает калитку плечом.

В последнее время он возвращался сюда, чтобы успокоиться и уснуть без снотворного. Врывался незванным гостем, о котором в низком деревянном доме не знали и не догадывались. Расстроенный, встревоженный событиями дня, прибегал укрыться. Наведывался накануне экзамена, собеседования, совещания. Пробирался бродить в закатных лучах, припоминая и воскрешая бабушкины цветы. В этот час, в зябких синееющих сумерках бабушка смотрела новости, в рекламном перерыве сосредоточенно меряла давление, потом степенно пила чай с овсяным печеньем, отдыхая после вечерней поливки кустов и грядок. Он мог сколько угодно бродить в саду, незамеченный, неприкаянный, никем не узнанный, подмечая каждый лепесток ее пионов, флоксов и астр. Иногда подолгу сидел на скамейке под черемухой, осматривая пригорок с двумя антоновками, шершавые листья медуницы и тигровые лилии, которые бабушка высаживала снова и снова после морозных зим. Только во время этих своих возвращений он догадался, прозрел болезненной вспышкой, что многие цветы она старательно выхаживала и растила для него одного. Осыпала дымным кружевом – золой из печки, чтобы подкормить. Согнувшись, сморщившись, ворчливо вырывала крапиву, лебеду, колючие ростки малины. Таскала на пригорок алюминиевую лейку, похожую на увесистый рыцарский нагрудник, до краев полный разогретой за день дождевой водой. Чтобы снова удивить его долгожданным цветением, волшебством развернувшихся за ночь пионов, вдруг вспыхнувших георгин. Чтобы он полюбил землю, траву, бабочек, шмелей, июльский послеобеденный жар. Чтобы он все-таки стал теплее, полюбил жизнь, перешел на эту сторону из морока своих раздумий. Такое неожиданное открытие однажды до слез ошпарило его изнутри.

Первый камень он зачем-то принес в бабушкин сад, еще не совсем понимая, кинуть его в кусты малины, спрятать за дровами. Или незаметно швырнуть за забор, к соседям. Раздумывал под черемухой, а перед ним по темнеющей траве растекался войлочный ледяной туман. Он так и оставил первый камень на скамейке, под ветвями, с которых осыпались ледяные капельки ливня. Забыл его там. Забыл о нем. Но потом были другие. Много камней. Целый камнепад. Поначалу только предполагал, гадал, откуда они берутся. Думал, что кто-то в шутку подложил ему камень в карман пальто, в вагоне метро. А потом кто-то еще оставил у него на пороге, прямо на коврике здоровенный серый булыжник, неровный, похожий на череп. А потом однажды кто-то незаметно подбросил бурый, обросший мхом камень в тележку с лимонами и заварной лапшой. Прямо в супермаркете, пока он выбирал лук из шелухи. Это были безболезненные, случайные камни, полученные неизвестно от кого. Позже он догадался: так украдкой от камней избавляются. Подбрасывают свою тяжесть случайным прохожим, чтобы скорее забыть. Таковы люди, нечаянно или намеренно, они подкладывают друг другу булыжники, одаривают щебнем, возвращают кремь вместо поцелуев. Каждый решает сам, что с ними делать, куда прятать, где складывать. Да и вообще – как избавляться, чтобы камни не копились, чтобы они не собирались в неподъемную тягостную кучу, от груза которой невыносимо жить. Так уж случилось: не особенно раздумывая, он стал приносить свои камни в бабушкин сад. Он был уверен, что бабушка найдет им применение. Она даже обрадуется, а потом обязательно что-нибудь придумает с этими булыжниками, как-нибудь задействует их в жизни грядок, клумб, кустов и деревьев. Впоследствии он и сам, не советуясь с ней, не дожидаясь разрешения, обкладывал холодными и недобрыми камнями клумбы. На пригорке начал сооружать ограждение вокруг календулы, цветы которой были уже закрыты на ночь, когда он объявлялся.

Прервав собеседование, в тот день директор выложила перед ним на стол колотый на углах кирпич. Ничего не сказала. И тут же выскочила из переговорной, предлагая ему немедленно освободить помещение. Вначале он отпрянул, несколько секунд сидел неподвижно, рассматривая пористый и неудобный предмет отказа, ответ на его вопрос, результат дня. Потом опомнился, кое-как упрятал в портфель папку с таблицами и этот увесистый кирпич своей безграничной никчемности. По дороге к метро почувствовал нарастающую тяжесть, от которой немели пальцы. В трамвае ломило плечо, вывихнутое неожиданной ношей. Но все застилали досада и отчаяние: он не сумел получить работу, на которую надеялся. Два года учебы превратились в строительный материал, неудобный и непригодный для его жизни. А точнее – в тяжесть и стыд.

Кое-как вернувшись домой, он не стал включать свет в квартире. Притаился на балконе в сумерках, без интереса наблюдая, как одно за другим вспыхивают окна соседних домов. Вдруг стало невмоготу от соседства и присутствия рядом множества жизней. Снова вспомнил о кирпиче своего неудачного собеседования, об итоге старательных бессонных ночей. И вдруг подумал неуместное, что бабушка была бы рада. И тут же почувствовал незаслуженное облегчение. Перед сном отнес тягостный и обреченный кирпич отказа в сад. Пробрался туда в сумерках. Положил сбоку от дровницы. И потом отдыхал на крыльце сарая, где хранились всякие грабли, тяпки и лейки. Ржавые, натруженные, облепленные землей, с отполированными за годы дровками, садовые инструменты чумазой толпой затихли у него за спиной. И как будто замерли в ожидании. Он почувствовал сосредоточенную тишину неприкаянных лопат. Вытянул ноги и с облегчением подумал, как же она обрадуется, засуетится и тут же пристроит этот невыносимый кирпич подпоркой подгнившим бревнам, опорой покосившейся стене. Ворчливо положит вдоль забора, наконец перекроет подкоп соседских кроликов и кошек, чтобы они не забирались сюда по вечерам. Или на худой конец приладит на бочку с дождевой водой, чтобы крышку снова не сорвала гроза, и ветер потом целый день не катал широкополую алюминиевую шляпу по всему огороду. Кирпич его разочарования, обозначение его неспособности, подтверждение его провала не пропадет, он пригодится, у него будет несколько осмысленных жизней в бабушкином саду.

А тот смолянистый и печальный кусок гагата Лиза молча вложила ему в ладонь, вглядываясь распахнутыми дрожащими глазами куда-то насквозь – в небо. Ошарашенный и ошпаренный молчаливой меткой, он несколько дней носил в руке. Легкий, совсем невесомый, при этом невыносимый черный камень, обозначающий разлуку, разлад, расставание. Никак не мог с ним примириться, и при этом отказывался разжать кулак. Все время по привычке пытался согреть камень в ладони. Но как теперь дальше жить, не знал, разучился всему сразу. На неделю, на две стал рассеянным и нескладным. Путал остановки трамваев. Проезжал пересадки, выходил на чужой станции метро. А потом как будто одумался, вдруг понял, что нужно сделать. Принес и выложил тоскливый черный янтарь в рядок камней, таким образом замкнув цветочницу ноготков с хрустящими белесо-зелеными листьями. Вместо разлуки, жалищей сердце, вдруг почувствовал золотой и пряный запах цветов, уловил шуршащие на ветру оранжевые лепестки-перышки. Он помнил медовый отвар календулы, которую бабушка почему-то называла «невестой лета». Это был обжигающий напиток его детских ангин. А его-то невеста поспешила сбежать, толком даже не попрощавшись. Но календула, солнечный циферблат, и тут оказалась сильнее, окутала сердце оранжевым, тихим огнем отвлекла от тоски. Он очень сожалел, но был уверен, что в нынешнем состоянии нужно зелье покрепче, с растительными ядами, прожигающими насквозь и за счет этого скрепляющими заново раскуроченную взрывом душу.

В камнях недостатка не было, с годами их подкладывали все чаще, все настойчивей, без разбора, второпях, на бегу. Хорошо хоть не швыряли прямо в лицо. А он приносил их вечером, один за другим, в сырой, затаившийся, тонуший в сумраке сад. Каждый камень отказа, разлада

или расставания обретал свое место вдоль тропинок, где колючие плети ежевики похожи на растрепанные пряди русалок, или на пригорке, где ветви винной ягоды вечно сотрясаются неугомонным щебетом птиц. Даже жестокий щебень неожиданно законченной дружбы встроился в ряд булыжников, завершил порядок раскиданных вдоль дорожек лиловых флоксов с тонким шемящим ароматом, который в сумерках скатывается беспричинным комком в горле. Кстати, подумал он, как насчет отвара флоксов – и тут же возразил самом себе, нет, это было бы слишком красиво, слишком изящно для всего, что случилось. К тому же он не знал, обладают ли бабушкины любимые цветы хоть какими-нибудь целебными свойствами.

На этот вопрос мог бы ответить справочник лекарственных растений – шершавая на ощупь книга в коричневой коре переплета. Увесистый том цветочной библии не имел постоянного места, кочевал по всему дачному дому, скрывался в самый нужный момент, но всегда был где-нибудь на виду: таился на тумбочке среди таблеток, прятался на полке в ряду книг по садоводству, валялся за одним из валиков столетнего дивана или пылился без дела на шатком журнальном столике. С заломленными страницами, с нечаянными каплями йода и торопливыми отметинами ногтем по гляncу цветных вкладок. По разворотам вихрем кружили манжетка обыкновенная, лапчатка гусиная, кипрей узколистный, словесно-пряный венок луговых трав и цветов.

В книге царил строгий порядок растений, их молчаливый вечнозеленый покой, как будто справочник служил тайной подпоркой, возвращающей равновесие миру. Ему с детства нравились ботанические рисунки. Побег с корнями и листьями, цветок в продольном разрезе, схематичный рисунок ягоды, эскиз листа, отдельно зарисованная тычинка. Внизу каждого рисунка – неременная подпись на латыни, тоненьким курсивом с вынетками. От страниц пахло каплями валерианы, сыростью дачных зим, горьковатой плесенью отсыревшего дома. Сейчас он ничего не мог оттуда припомнить, ни одного растения, сборник был его любимым альбомом, приобщавшим скорее к рисунку, чем к ботанике. Теперь он жалел, что не сумел выловить из памяти ни одной страницы. Но ведь они все были здесь, вокруг него – цветы и травы из увесистой коричневой книги. Сейчас их целебные свойства, алкалоиды и дубильные вещества были для него важнее древнегреческих мифов, примет, легенд и народных преданий, которые шлейфом тянутся за каждым цветочком бабушкиного сада, за всеми цветами окрестных лугов.

С некоторых пор побеги-воспоминания заменяли ему молитвы. Перед сном он возвращался в сад. Скрывался в тишине. Припоминал и обязательно что-нибудь понимал, видел иначе, вглядываясь в темнеющую листву и изгибы тропинок. Или вдруг нечаянно ухватывал другой смысл слов и событий. От этого снова испытывал неожиданную, обжигающую до слез вспышку. Как будто внутри взрывалась крошечная вселенная пронзительно-печального света.

На пригорке под рябиной, где почти всегда солнечно, среди шапок травы и крапивы разрослась мята. Иногда бабушка заваривала в большом чайнике великий июльский букет: складывала в проржавленное фарфоровое нутро веточки мяты, листья черной смородины и малины, будто стопки старинных ассигнаций, туда же клала нежные листья земляники, что росла под столетней черной антоновкой, перед окном террасы. И потом до краев ошпаривала лиственный букет кипятком. Разгоряченный чайник немедленно заворачивался в несколько кухонных полотенец. О нем забывали до вечерних новостей. Со временем это колдовство стало его обязанностью. В полдень, пока бабушка пряталась в прохладной спальне от солнца или торопливо шинковала капусту на щи, он разгуливал в резиновых сапогах среди кустов и клумб, напившихся сизой сырости ливня. Аккуратно отрывал лист черной смородины, из-за морщин и прожилков похожий на старческую ладонь. Прятал в большую эмалированную

кружку поспевшие ягоды и зеленый, полудрагоценный на ощупь крыжовник. Пробирался по мокрой траве, среди кустов и яблонь – за мятой, без которой ничего не получится. Это был полуденный ритуал жары, пасмурности или накрапывающего дождя. Или долгожданная вылазка сквозь фиолетовый и немного тревожный отзвук уплывающей за лес грозы. Чай лучился золотисто-летним. У охлажденного напитка был смородиновый, мятный запах и земляничный, лиственный вкус. Почему-то он понял, еще когда наблюдал тех двоих в палате, что в саду ему придется искать совсем другое, заковыристое, крючковатое, зарытое глубоко в землю, запрятанное в шелесте вечерней листвы.

Гром рычал все свирепее, как будто летел за ним следом. Он прокладывал торопливые шаги в темной осоке, уже прохладной, вобравшей глоток сумерек. Продолжал беспокойный побег от тусклого света, свалывшегося одеяла, накатывающего волнами озноба, из серозного и отечного чистилища палаты, пронизанной тут и там храпом и стонами. Сегодня его поразила яркость вечерней листвы, искрящиеся, сочные краски кустов малины. В лицо ворвался букет свежих цветочных запахов. Потому что в саду-воспоминании одно лето всегда накладывается на какое-нибудь другое, вечера дополняют один другой, восстанавливая недостающие в памяти штрихи. Из-за этого черемуха обретает темно-зеленый оттенок, и горечь каждого листа ощущается на расстоянии. Проходя мимо, он как всегда протягивает руку, срывает мягкую черную ягоду. Которая растекается во рту вяжущим войлоком, чернильным черемуховым густком. Он мог бы писать черемуховыми буквами, сине-коричневыми, от которых сводит кончик языка и саднит небо. Он мог бы говорить горечью и сладостью черемухового рта, слогами ягод и цветов, в которых тaitся продрогший ветер вперемежку с речным туманом. В его вечернем саду все линии собраны из расплывчатых, мелькающих, ухваченных уголком глаза росчерков. День за днем тонущий в сумерках сад, с топким ночным холодом, шумом темнеющей листвы, обретал очертания, становился пронзительным и полнокровным, самым явным и очерченным местом на свете. Ему осталось только угадать растение, собрать горсть лепестков и листьев, приготовить отвар.

Черные кудри японской айвы, войлочный хор медуницы, бестолковые колючие подростки малины и крапивы обрамляли лужайку. На ней – мягкий истоптанный ковер клевера, подорожника, лапчатки, измятых одуванчиков, сквозь который змеились пути поливочных шлангов. На этой лужайке обитал свет. Здесь можно было встретить и обрести заново в назначенный час возносящий к облакам столп закатного сияния. Медовый прожектор летнего жара пронизывал насквозь бабочек и пчел, превращая крылья в мерцающие витражи, становился пронзительно-ярким на сломе дня, на фоне изумрудной травы и далеких обугленных временем яблонь. Весь потерянный свет можно было вернуть, бросившись на лужайку за час до охлаждения, перед наплывающей волной сумерек. Иногда он так и делал, спешил сюда откуда угодно, неся в поток цветочного жара, жужжания и солнечной пыльцы. Только бы успеть, только бы выскочить на лужайку вовремя. Он прибежал издали, расстояние и время с каждым днем лишь увеличивались, но все же иногда удавалось успеть, он улавливал и устремлялся на призывные звуки мальчишек, свистящих стручками акации. Огромного куста акации, стручками которой можно было гудеть и трубить призывный клич. Развесистой столетней акации, которая разрослась на распутье дорог. Среди ветвей можно было скрываться и наблюдать, кто там уходит к шоссе, кто приближается, шагая вниз с холма по проселочной дороге. Прежде всего нужно было распечатать стручок, освободить его от семян. Приложить опустевшие створки ко рту, прижимать к губам кулаком и пальцами. Иногда у кого-нибудь из мальчишек вдруг получалось. Тогда на всю округу раздавался гнусавый, пронзительный свист акации. Оказалось, этот клич способен лететь сквозь пространство и время. Он помнил этот звук, он всегда стремился успеть на их отчаянный зов.

Именно в этот час на лужайке сражались его друзья, растрепанные дачные мальчишки. Так завершался бесконечный день их бесцельных скитаний по округе. День неприкаянного безделья и бестолковых поисков, на что бы истратить терзавший каждого избыток сил. Здесь был соседский Колька и послушные ему Антон и Леший. А еще Анин очкастый брат с пластырем на носу. Толстый сын лесника, из бревенчатого домика за рекой. Иногда оказывался еще кто-нибудь из дачников. Беззубые, веснушчатые, объевшиеся за день неспелых яблок, зеленого крыжовника, дикой малины. Они жестоко бились в лучах уходящего дня, с криками и воем обстреливали друг друга. Снаряд репейника летел под глаз, оставляя на коже узел кровавого синяка. Обжигающий колючим ядром по лбу, царапающий за шиворотом, цепляющий кофту ржавыми крючьями, злосчастный цветок войны все лето назревал в канавах деревенской дороги. Там его торопливо обрывали, спрессовывая в кулаке крюкастый клубок. Хрустящий, железный, цепкий, репейник летел в цель, чтобы тут же рассыпаться множеством хватких колючек, шелухи и ржавых осколков. Превращался в удушливый войлок на языке. Пальцами, измазанными в земле и в траве, за день шатания по округе пальцами в песке, в камнях, в коре и глине приходилось выбирать чешуйки репейника из глаза. И потом снова обстреливать Антона и Кольку колючими цветами оврагов, высохшими паучьими корзинками, снарядами спонтанного мальчишеского побоища.

Как-то раз все они оказались против него. Вдруг стали неприятелями, задиристым и непримиримым войском, которое с воем двинулось в наступление. Их оттопыренные карманы были до скрипа набиты спрессованными колючими цветами войны. Они все как один поспешно отдирали липучку-цветок от цепкого шуршащего шара и кидали в него с разных сторон. Снова и снова. Обстреливали. Колотили. В щеку, в плечо, снова под глаз. Орали: «Получи!» и «Подавился!» Глаза заволочло слезой обиды и гнева, скоро через пелену он уже не различал лиц. Все они слились в один разъяренный портрет с ненавистью в глазах. В ушах пульсировала злость, желание закричать и со всей силы ударить в ответ. Вскоре он уже не слышал выкриков, все голоса смешались и слились в общий свирепый вой. И они стреляли со всех сторон все хлеще, все безжалостнее, дожидаясь, когда он наконец сломается и разревется. И бросится наутек к забору, к калитке, на дорогу. И свет в тот день возносился над лужайкой в высокие облака, похожие на клочки разметанного письма. Но что-то ему подсказывало: колючая горечь репейника на этот раз не поможет. Нужно искать другое. Продолжать неприкаянные блуждания среди грядок и клумб. А низенькая японская айва, разросшаяся медуница, пиковые отростки крапивы, колючие малиновые побеги, измятый шагами подорожник и молодой клевер лужайки, так часто помогавшие обрести заново весь утраченный свет, сегодня оказались ложными, лишними, бесполезными в его поисках. И гром грохотал, надвигаясь со стороны реки, все ближе и ближе, вынуждая его торопиться.

Бабушка никогда не была остра на язык. Однако у нее в запасе имелись прозвища, точно колышки для рассады, тщательно подобранные для каждого. Скорее всего, она обтесала, заготовила и приберегла их во времена своей молодости. Все эти подпорки с табличками: «надменная», «пирожок без начинки», «барыня», «лизоблюд», «сиволапый» наверняка были в ходу когда-то давным-давно. Раздавая простодушные клички по второму или третьему разу, она таким образом делала незаметный, ей одной понятный кивок в сторону прошлого и одновременно создавала навигацию в настоящем. Одним единственным словом печатывала, обозначала, заклинала. Незатейливо и прямолинейно наводила порядок в своей и в его жизни.

Он всегда смущался, услышав очередную отточенную подпорку-кличку. Он стеснялся, а в глубине души закипал. И тут же, подавшись благородному порыву-противлению, начинал рыцарски отстаивать своих друзей. Был преданным сторонником, сообщником, даже отчасти адвокатом. Обескураженный очередным прозвищем, он спорил, негодовал, раскалялся, пытаясь переубедить бабушку: как же она ошибается. У нее старомодные представления. Свое

понимание людей она вытаскивает из шкафа, где шаблоны лежали в старой обувной коробке, с таблетками нафталина, дожидаясь, чтобы прозвучать еще хоть разок. С тех пор все сильно изменилось, разве может она разобраться в нашем времени. К тому же нельзя так строго и даже высокомерно судить о человеке – с первого взгляда, с первого мимолетного впечатления. Но годы подтверждали, что в своих перекошенных, съехавших на кончик носа очках для чтения бабушка ни капельки не заблуждалась. Она видела людей насквозь. Она как будто смотрела сквозь дни, куда-то в будущее, учитывая четвертое измерение – время, о существовании и свойствах которого он тогда еще ничего не знал, даже не догадывался, что оно существует. А бабушка умудрялась предугадать развитие во времени, она точно знала, что из завернутого в мокрую марлю семечка тыквы через неделю возникнет крочковатый, целлофаново-прозрачный корешок и сложивший ладони бледный проросток. Каждое лето бабушка полола и поливала цветы, изо дня в день наблюдая, как все вокруг возникает из земли и сразу же постепенно растет, а потом кустится, зацветает, опыляется, дает завязь. Она видела своими глазами, как меняется любая травинка. И каждый листок. И незаметно весь сад вокруг нее преобразался. По кругу. Год за годом. С одними и теми же промедлениями, приостановками, отдыхом на скамейке, чтобы перевести дыхание, спрятать за щеку карамельку и завести часы. По каким-то особенным зацепкам она ухватывала будущие преобразования, преобразования и превращения. Ей нравилась эта немного печальная и отчасти суровая предусмотрительность. Однажды, когда речь нечаянно зашла о Леле, бабушка прищурилась и выпалила напрямиком: «Отходи-ка ты от нее, милоч, костлявая она, лицо у нее как у щуки, уж очень похожа твоя Леля на смерть. Если у вас ничего не решено, если ты ничего ей не обещал, тихонечко все сворачивай», – и тут она вдруг задрала руку, согнула ее, показала на локоть подбородком и добавила: «Чтобы потом не кусать, когда поздно будет!»

В тот вечер они пили чай на веранде. К листьям смородины и малины он добавил неспелое яблоко. Эта антоновская кислинка осталась в памяти. Кажется, он все же промолчал в ответ. Сдержался. Ничего не выкрикнул. Их молчание в тот вечер рассеялось, исчезло, навсегда утонуло в синеющих сумерках за освещенным окном террасы, в которое то и дело бились ночные бабочки. Он не собирался слушаться бабушку. Решил оставить ее предупреждение как бы в стороне, на обочине. Он не вложил Леле камень в руку. Не засунул Леле украдкой булжнич в карман. Но однажды он тоже все понял. В одно какое-нибудь мгновение ему стало ясно. Дело было летом, на шуршащей гравием тропинке бульвара. Среди лип, окутанных лучами июньского солнца и легкими пушинками тополиного пуха, которые мерцали тут и там на фоне листвы. И он вдруг бросился прочь по тропинке. А Леля замерла возле памятника, бледная, растерянная, не моргая смотрела ему вслед. Он убежал, не удосужившись даже объяснить. Ему казалось, что все и так понятно, что слова излишни. Его вдруг обдало серо-синим холодом, безбрежной немотой и меланхолией могилы. Он почувствовал, что Леля – действительно смерть. Он окончательно убедился. И неся по бульвару прочь от нее, чтобы смерти не было рядом, чтобы смерть не прокрадывалась в его дни. Чтобы все оставалось по-прежнему. Хотя бы еще некоторое время. Но бабушка все равно умерла через год. А точнее, она упокоилась без всякой смерти. Она вдруг потерялась, заплутала во сне. Скорее всего, снова ушла слишком далеко по коридорам госпиталя своей военной молодости. Зашла куда-то вбок, в процедурный кабинет, что-то долго там перебирала, гремела инструментами. Так увлеклась, что под утро не нашла дорогу назад, не собралась с силами проснуться. А потом, уже после похорон, она вернулась в сад, потому что до вечерних новостей нужно было полить кабачки, прополоть укроп, пересадить георгины. С тех пор в вечерние часы она всегда смотрела телевизор в густеющем сумраке дома. А он бродил по мокрой от росы траве. После ее рассказов о госпитале он особенно не задумывался, просто был уверен, знал наверняка, что война никогда больше не повторится. Потом завыли сигнализации припаркованных вдоль дома машин. Рвануло во дворе, возле первого подъезда и гаражей. И он вдруг понял, что война уже здесь, что она теперь повсюду вокруг него.

Правая рука вдруг налилась нездешней замогильной тяжестью. Безжизненная и тяжелая, ладонь оказалась корнем. Кто-то тянул его сначала в сырой подпол, в котором бабушка складывала вдоль земляных стен литровые банки с вареньем из черной смородины, трехлитровые банки с солеными огурцами и ржавые жестянки с тушенкой – на какой-нибудь крайний случай. Но кто-то тянул его дальше, сквозь толщи холодного песка и жирного перегноя. За руку-корень, тянул под промерзшей за ночь землей. Под тонкими нитями корней подорожника, под белесыми упругими корнями ирисов, под извилистыми стелющимися корневищами крапивы. Сквозь суглинок и забродившие прошлогодние листья, все глубже тянул его в темный холодный грунт. И он чувствовал каждой подушечкой пальца песчаную промозглую немоту. Бессловесную стылую хватку почвы и скользкой глины. Пришлось кое-как перевернуться на спину, койка взвизгнула и заскулила ржавыми пружинами. Изо всей силы вытаскивал руку. Онемевшую, отжившую, отвоевывал-вырывал из земли, из беспамятной глубины. Поскорее послонявил сгиб локтя, как жетса, так учил его в детстве друг и недруг одновременно, белесый мальчишка по имени Колька. Растирал сгиб локтя по кругу. Холод палаты мигом вернул его из сна в неуютную темень, пропахшую тошнотворной хлоркой. Продолжая массировать ладонь, медленно оживающую множеством тупых иголок, он отвоевывал каждый палец у подземного мира и вдруг подметил: вокруг колышется измятой простыней тишина. А тот старик в углу сегодня что-то не храпит, не стонет, не нашептывает сквозь сон. Только и подумал: «А серый невзрачный смерть, напарник в халате санитара морга, он вообще-то ушел отсюда или притаился где-нибудь в палате?» Но поспешил поскорее завернуться с головой в колючее одеяло. Почувствовал щекой свалывшийся войлок-репейник. И сразу провалился в глубокую бездонную пустоту. И пустота на этот раз показалась ему черной периной, в которую хотелось зарыться поглубже. И еще глубже. До самого дна. Проснулся он поздно, на этот раз даже сумел приподняться на разгоряченной, истерзанной за ночь подушке и тут же поймал: кровать старика койками возник худой жердяной человек с бородкой, который к тому же украдкой курил прямо в палате. Уловив его взгляд, бородатый тихим эхом подтвердил: «Да, отмучился. Унесли его час назад. Теперь летает вместе со своими воробьями. Рассказывал нам еще до тебя, что в любое время года по возможности кормит птиц. Называл себя кормильцем воробьев. Говорил, что для него кормушка на балконе заменяет храм божий. И вот, видишь, улетел. Хорошо ему теперь с ними на свободе. Это нам здесь трудно, отставшим». Дальше слушать он не стал. Отвернулся к окну. Самолет медленной иголкой шил в высоком прохладном небе. Значит, те двое не шутили. Как сказали, так и сделали: забрали старика. Тогда получается, что у него остался последний день. Особенно не разбежишься. Всего один день на поиски. Надо бы наверное поспешить, – безучастно подумал он, – вернуться, что ли, еще раз. Найти в саду этот целебный цветок или горсть листьев. Только что имелось в виду? Что нужно искать? Вчера он успел перебрать многие цветы, кусты и травы. Столько всего удалось вспомнить. Но ничего толком не угадал, не собрал, потратил время впустую. Очень хотелось отшутиться. Отмахнуться от этой затеи. И лежать целый день, разглядывая высокое безучастное небо в окне. Но он вдруг почувствовал панику и нетерпение. А еще – непонятное самому раздражение. И все это ширилось темным тревожным клубком, разрасталось в груди, пока он не начал задыхаться. Его трясло от злости и беспомощности. Он снова не сумел вспомнить ни свое имя, ни адрес, ни сколько ему лет. Хотя приблизительно. Ничего, провал, в каждой графе – прочерк.

Зато он вдруг наметил план: нужно срочно найти тех двоих, высокого в черном и маленького неприятного ассистента. Найти и поговорить с ними начистоту, молниеносно. Прежде всего выяснить, кто они такие. С какой стати вздумали распоряжаться ранеными и контуженными? Почему считают себя вправе решать, кого и когда «забирать»? Потребовать объяснений, что это

вообще такое. Или на худой конец получить отсрочку. Хотя бы неделю. Раздражение вернуло силы, он вскочил, койка взвизгнула крещендо всеми пружинами. Но никто даже не посмотрел в его сторону. Соседи спали, свернувшись в настороженные клубки, с головой в больничных одеялах. Он бросился босиком, мимо капельниц, коек и тумбочек, на бегу обулся в чьи-то больничные шлепанцы, которые оказались велики на пару размеров. Он так раздраженно пересек палату, что никто не вздумал интересоваться, куда это он. Тот бородатый смотрел сквозь газету и даже не удосужился оторвать глаз. На койке у входа двое в пижамах, укутавшись в одеяла, резались в дурака. Он распахнул, дверь со всей силы грохнула о стену. В коридоре колыхался серо-сиреневый свет. В тусклом медлительном бульоне кто-то ковылял прочь, вдоль белесых дверей, опираясь на ходунки. Кто-то еле двигался в застиранной полосатой пижаме, которая болталась, будто на пугале. Только сгорбленная спина. Жухлые седые волосы. И сбивчивые, шаркающие шажки. Стук ходунков заставил его встрепенуться. Мимо пронеслась медсестра с лотком, в котором что-то позвякивало. Ничего не сказала, даже, кажется, не обратила внимания. А он вздрогнул, от тревоги потерял равновесие, коридор тоже покатился куда-то набок. Ухватившись за косяк двери, прижавшись к стене спиной, постарался глубже дышать. Вдалеке было окно, мутный луч струился к нему из темноты. Посередине коридора, в серьезном омуте единственной на все отделение гудящей лампы, санитарка намывала пол, старательно шваркая шваброй, мокрый линолеум блестел и змеился, казался почти перламутровым. И тогда он медленно двинулся от нее, побыстрее от ненужных расспросов, вдоль дверей маленьких тесных палат – в другой конец коридора, к вахте, к выходу. Все было пропитано сыростью утренней уборки, стерильными простынями и чем-то тяжелым, подгоняющим скорее сбежать отсюда. Он кое-как ковылял, на полусогнутых деревянных ногах, то и дело хватаясь за стену. Потом чуть распрямил спину, изо всех сил старался двигаться самоуверенно и дерзко, как человек, у которого есть причина выйти и ничего никому не объяснять. За спиной отворилась дверь, кто-то крикнул: «Сюда! Танюша!» Кругленькая санитарка со стуком приставила швабру к стене, шаркая побежала на зов. Снова грохнула дверь палаты, захлопнутая пружинкой. На этот раз он вздрогнул, но даже не обернулся. Грохот показался слишком похожим на взрыв. Звук множился, распадался на эхо далеких и близких взрывов у него за спиной. Накатила паника, он решил, что нужно бежать, срочно уносить ноги отсюда. И вдруг почувствовал себя вросшим в пол, в тусклый больничный линолеум. Пытался бежать, при этом не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, дыхание перехватило. Он вдруг стал деревом, самым настоящим вязом, остолбеневшие и неповоротливые ноги-корни уходили глубоко в почву, прорастали сквозь деревянные перекрытия, балки, бетон здания. Безвольные отяжелевшие руки приросли к бедрам-стволу, струились вдоль тела к полу огрубевшими тяжами-лианами. Он ничего не понял, только почувствовал волокнистое растительное бессилие. Немоту. И возмущенную дрожь, запертую внутри древесного оцепенения. Он начал сопротивляться, изо всех сил старался продолжать движение. Взрывы множилось у него за спиной. Каждый шаг приходилось вырывать из земли, выдергивать ствол и разветвленное корневище, проросшее в стороны множеством корней-отростков. Огромные, извивающиеся, цепляющиеся за бетон крючьями и клубками, корни сопротивлялись, руки-лианы тянулись к полу, не было сил пошевелить хотя бы мизинцем. Колени не гнулись, ладони покрылись шершавой корой, но он снова вырывал ногу, вросшую в пол клубком проволочных корней. И вдруг различил: за спиной притаился провал свалывшейся тишины, пропитанной сыростью утренней уборки. В отделении было пустынно. Ни скрипа, ни выкрика, ни сквозняка. Он снова делал шаг. И еще один маленький шагок вперед. Приноравливался к своему древесному онемению. Вырывал корни из линолеума, при этом обрывая мелкие нежные корешки, прозрачные неокрепшие отростки, прорастающие вглубь здания. Весь он на некоторое время стал одним невероятным усилием. Затмевающим все вокруг усилием сдвинуться с места. Хотя бы еще на один неуверенный шагок к выходу из отделения раненых и пленных. Хотя бы еще немного как-нибудь пододвинуться боком, вперед. Он был

один на один с этим своим неожиданным одеревенением. По ощущениям через час, а может быть через два, через целую вечность болезненных усилий сдвинуться с места, он оказался возле дверей. Две высокие белые створки с окрашенными стеклами возвышались перед ним до самого потолка. Рядом на вахте никого не было. Он обрадовался, это позволило сберечь силы, не нужно было оправдываться. Не нужно было объяснять, выдумывать, прикидываться. Вахтенный стол – из операционной, окрашенный белой масляной краской, наискосок загромождали две распахнутые канцелярские книги. На линованных страницах – наскоро нацарапанные столбики цифр. Он решил не тратить время, не стал вглядываться, ничего толком не понял. Только подметил птичьи каракули росписей по краю каждой страницы. Чуть ближе к стене на столе оказался перекидной календарь, среда, 23 июля. Эта дата ничего ему не говорила. Он не знал, это сегодняшнее число? Или какой-нибудь произвольный день из прошлого. Рядом озерцом таилось круглое зеркало на тоненьком штативе-подставке. Он схватил его и с тревогой заглянул в тихий мерцающий омут. Сердце заколотило в грудь беспокойным кулаком, словно намеренное пробиться наружу. Наконец увидел свое лицо, бледный отчетный овал без черт. Незнакомый, неподвижный. Свое или чужое, частное и общественное, ничье особенно лицо-разочарование ни о чем ему не сказало, ничего не напомнило, кроме растерянности и оторопи оплывших, оплавленных контузией черт. В недоумении разглядывал бледный воск впалых щек и желтушный оттенок на лбу. Незнакомые борозды морщин под глазами. Складки горечи вдоль уголков рта. Настороженные светло-зеленые, полупрозрачные, опустошенные глаза. Из-за тусклого взгляда существо в зеркале казалось замороженной, испуганной рыбой. Утопленником. Призраком подводного мира. Он оборонительно отстранился, даже отпрянул от опустошенного и потерянного незнакомца. Снова не смог ничего вспомнить. Ни имени. Ни адреса. Даже хотя бы месяц рождения – стерся, ускользнул, рассеялся без следа. Вдруг испугался, что возникший в зеркале образ еще сильнее замкнет, опечалит, опечатает память. Поэтому скорей вернул зеркало на стол, на место, к стене. Почувствовал прилив ярости, нетерпения, затаившегося внутри огня. Одним рывком встрепенувшейся птицы вырвался сквозь подадливые створки дверей, беспрепятственно выбежал вон, вытолкнул себя из отделения наружу. И оказался в просторном вестибюле, с неожиданно высоким, до головокружения торжественным потолком. Под сводами с лепниной в виде лепестков и завитушек. В тусклом свете лун-плафонов, которые неуловимо покачивались на сквозняке.

В стороне он заметил гардероб, похожий на тесный дубовый шкаф. Широкая парадная лестница с громоздкими пилястрами уходила на второй этаж. На противоположной стороне, в приемном отделении, вдоль стены просматривался рядок пустых больничных кресел, в любую минуту готовых принять искалеченных и недужных. Вестибюль все время пересекали шуршащие фигурки в белых халатах, носились туда-сюда, сжимая под мышками папки и больничные свертки. Легко цокая каблучками, девушка со штативом для капельницы цокала вверх по лестнице. Торопливо спускались две полненькие медсестры, они тащили поднос, доверху заваленный упаковками одноразовых шприцов. Отвыкший от людей, оглушенный пространством и гулом здания, ослепленный белизной мрамора, он осматривался по сторонам, слегка вальсируя. Внутри громоздкой вертушки входных дверей вдруг уловил, как будто узнал человека в черном. Долговязая струящаяся фигура уже неторопливо шагнула наружу и тут же исчезла, свернув куда-то вбок от центрального входа. Не особенно раздумывая, он бросился вдогонку. Впопыхах столкнулся с медсестрой в высоком белом чепце. Услышал насмешливо-добродушно: «Осторожнее, мужчина, что вы как угорелый». Не успел улыбнуться, уже вбежал внутрь вертушки, изо всех сил подталкивал тугую упрямую дверь обеими руками. И наконец выскочил наружу из шумного вестибюля.

Небо оказалось высоким и бледно-серым. Он назвал бы его задумчивым. И еще пасмурно-свежим. Стараясь надыхаться, заглатывая сырой дождливый воздух, осматрелся по сторонам.

Долговязого в черном нигде не было. Опыяненный слепящим светом и отсутствием стен, он сделал несколько сбивчивых шагов вперед, не совсем понимая, куда и зачем теперь идти. Перед ним шершавым зеленым ковром развернулся госпитальный парк, маленький Версаль для раненых и контуженных. Он толком не понял, как лучше: караулить человека в черном здесь, у овальной клумбы осыпающихся бордовых роз? Или бежать за ним вдогонку. Только куда он делся? Куда нужно бежать? Завороженный красотой парка, прошел еще немного вперед, по аллее стриженных лип. Таких мирных и отстраненных в своем изящном тихом порядке. Геометрия зеленых кругов и квадратов внушала ощущение неосознанного равновесия. Перед ним вдруг распахнулась огромная бархатная книга. Тихая и таинственная, приглашающая углубиться и заплутать среди сотни страниц. Ветер перебирал, трепал и перемешивал тысячу оттенков зеленого. Каракули, завитушки, росчерки и буквы изгороди кустов, обрамлявших веера боковых тропинок. Вдалеке угадывался бежевый купол кружевной беседки. Справа виднелась как будто верхушка пагоды – среди ветвей и оплетенных плющом арок. Несколько секунд вглядывался в даль одной из тропинок, заметив там белого пуделя. Почувствовал лицом пряный летний ветер, уловил далекий плеск воды. На одно мгновение отяжелевшие веки безвольно и доверчиво опустились. И ничего. Провал. Конец связи. Как будто уснул на ходу, поддавшись беспечности и блаженству. Всего на какую-нибудь секунду, на одно перышко-мгновение отключился от всего вокруг. Окутанный запахом скошенной травы, влажной листвы, отцветающих роз. Опомившись, будто оправдываясь, торопливо повернул назад. Но что же это? Разве такое возможно? Каменный госпиталь с квадратными хитроватыми окнами, строгое приземистое здание, уравновешенное, молчаливо-сосредоточенное, вдруг исчезло. Госпиталь рассеялся без следа. За овальной клумбой возвышался невесомый на вид, будто летящий в небо корабль с белыми колоннами на фоне нежно-шафранового фасада. Изящный трехэтажный дворец церемонно притаился, притих в реверансе, выжидая долгожданный момент своего появления. Он отпрянул. Замер в растерянности. Не верил своим глазам. В то же время подметил, что деревянная вертушка дверей тоже исчезла. Перед ним выстроился рядок высоких и жеманно-узких створок с золочеными ручками в виде львов. Нужно было срочно выяснить, что же такое, черт возьми, происходит. А дворец как будто давным-давно ждал его в добродушных фижмах стрельчатых арок, в терпеливых кружевах готических окон, в насмешливой мишуре золоченых ангелов и ветвей. Таинственно поблескивал капельками недавнего дождя на стеклах. И приглашал скорее войти. А точнее – ворваться внутрь, без прозмедления, без раздумий.